

О своей жизни Марк Шагал начал писать в 1915—1916 гг. в Петрограде и закончил в 1923 году в Москве. Книга написана по-русски и рассказывает о его жизни в России, но читателю на родине художника она стала известна лишь теперь. Выпустить ее в СССР ни тогда, ни в следующие десятилетия было невозможно, а зарубежного русского издателя не нашлось. Жена художника Белла Розенфельд перевела ее на французский, и в 1931 году мемуары вышли в свет. Затем они появились на других европейских языках. Судьба русского оригинала неизвестна. Шагал умер в 1985 году, Белла — в 1943-м, их дочь Ида — 10 августа 1994 года. Может быть, о рукописи что-то знает вторая жена художника Валентина Бродская? Было бы хорошо, если бы она об этом сообщила. Пока же «Моя жизнь» вышла в обратном переводе с французского. Первым языком Шагала был идиш, и хотя русским он владел так же хорошо, вероятно, думал на идише, когда рассказывал о первом периоде своей жизни. Эта особая интонация ощущается в книге и придает ей необыкновенное своеобразие, как ощущается она, например, в мемуарах Голды Меир, писавшей по-английски, но думавшей на идише.

Как и в своих картинах, Шагал демонстрирует в книге поразительную свободу, соединяя в вольном изложении события прошлые и нынешние, обыденное и возвышенное, внешнюю канву и внутренние переживания, юмор и печаль, землю и небо. Как и в его картинах, поток мыслей цементируется четким ритмом, связывающим повествование в тугой узел. Магия шагаловского искусства продолжает жить в слове, создающим зримые картины. Попробуйте не только вчитаться, но и всмотреться в них. Витебская синагога:

«Синева неба под молитвенный гул казалась гуще. Дома мирно парили в пространстве. И каждый прохожий как на ладони».

Артист Михоэлс:
«Глаза навывкате; выпуклый лоб, волосы дыбом, короткий нос, толстые губы. В разговоре он чутко следил за мыслью, схватывая ее на лету, и — весь угловатый, с торчащими острыми локтями — устремлялся к самой сути. Это незабываемо».

Адвокат и депутат Думы Винавер, приютивший начинающего художника, «человек, который был мне близок почти как отец»:

«Помню его лучистые глаза, брови, которые он медленно сдвигал или поднимал, тонкие губы, светло-каштановую бородку и благородный профиль, который я — по своей несчастливости — так и не решился нарисовать».

О своей жене Белле, Беатриче художника:

«С тех давних пор по сей день она, одетая в белое или в черное, парит в моих картинах, озаряет мой путь в искусстве».

Самые нежные страницы мемуаров посвящены родителям, родным, родине. Прежде всего «загадочному

Марк Шагал. Моя жизнь. Пер. с франц. Н.Павлович. М., «Эллис Лак», [1994]. Тираж 50 000 экз.

Мемуары Марка Шагала

и грустному» отцу, грузчику в селенной лавке («Всегда озабоченный, только глаза светятся тихим, серо-голубым светом»), матери, дяде-парикмахеру, кантору, учившему Моисея (Моисей) петь (Марком он стал позже, в Петербурге), соседу, игравшему на скрипке «бездарно, но проникновенно».

С любовью и юмором описывает Шагал этих людей, живших нищенским бытом, но упирившихся мечтами в небо, их будни и праздники, когда «молились не только люди, но и дома и деревья», рассказывает о внешних приметах национальной жизни и ее глубинной религиозной традиции — обо всем том, что долгу творческую жизнь питало его искусство.

Закончив в 1905 году четырехклассное городское училище, Шагал

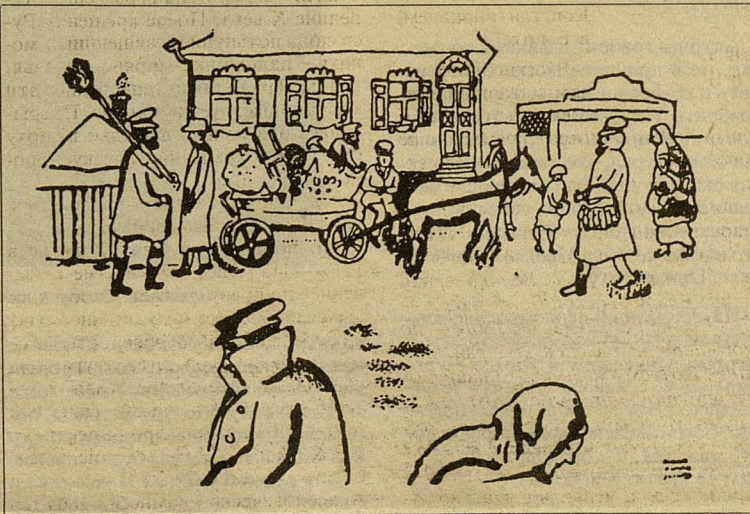
царь установил черту оседлости, которую еврей не имеет права переступить». С 1907 по 1910 год художник жил в столице нелегально или полунелегально, по добытым справкам, «долго мучился, не имея крыши над головой» и в конце концов попал в кутузку: «Уж здесь-то по крайней мере я живу с полным правом, здесь меня оставят в покое, я буду сыт и, может быть, даже смогу вволю рисовать».

Первыми оценили Шагала и помогли ему имевшие право жительства в столицах художники и общественные деятели — евреи: Винавер, купивший его картины и поселивший его в редакции газеты «Заря», а позже давший ежемесячное пособие, которое позволило Шагалу жить в Париже; скульптор Гинцбург, благодаря рекомендации которого дал посо-



Иегуда Пен. Портрет Марка Шагала. 1906—1908.

вать родителей жены — чекисты устроили грабительский обыск в квартире тестя и арестовали тещу «в числе других зажиточных земляков за то лишь, что не были бедны; где только я не побывал, обивая пороги, дошел до самого Горького. (...) Помоему, для блага революции не обязательно попиражать личность».



Марк Шагал. Витебск.

бие банкир барон Д.Гинзбург; адвокат Гольдберг, поселивший Шагала у себя.

Искусство молодого Шагала было непонятно не только публике, но зачастую и собратьям-художникам.

«Моим соотечественникам осталась чужд мой язык (...). Все, что я делаю, русским кажется странным, а мне кажется надуманным все, что делают они. (...) Не могу об этом говорить. Я слишком люблю Россию».

В 1910 году Шагал уехал учиться в Париж, куда он был «вытолкнут самой судьбой». Там он много посещал Лувр и Люксембургский музей (в котором тогда были представлены современные ему художники или непосредственные предшественники), салоны и музеи, сами улицы и площади великого города, освещенные «светом-свободой». «В Париже я всему учился заново, и прежде всего самому ремеслу». Здесь Шагал осознал и свое отличие от традиционной французской живописи. Он полюбил Францию, но не разлюбил Россию, навсегда оставшуюся в его душе: «Земля, где покоятся предки. Самое дорогое, что есть у меня сегодня». Жить же он решил во Франции, потому что в России «с малых лет я постоянно чувствовал — мне постоянно напоминали! — что я еврей, и лишь в Париже, во Франции, в Европе я стал человеком». Весной 1914 года он поехал в Россию навестить родных, но разразившаяся война помешала ему вернуться, и он задержался в России на восемь лет.

Как для многих людей, выросших в черте оседлости, идеи революции оказались созвучны и настроению Шагала: «Моя первая мысль — я не буду больше иметь дело с паспортным». Он окунулся в кипучую административную и преподавательскую деятельность, организовал в Витебске Народное художественное училище, пригласил работать в нем знаменитых столичных мастеров, создал музей, живописную галерею, оформлял массовые представления и подписывал художественные манифесты.

Но воистину нет пророка в своем отечестве: Шагал вступил в конфликт с идеологами модных художественных течений, за которыми пошли его ученики, а власти стали преследо-

сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку».

В начале 20-х годов Шагал с семьей уехал из Витебска сначала в Петроград, потом в Москву, чтобы отсюда отправиться во Францию. Но его увлекло предложение сотрудничать с еврейским Камерным театром под руководством А.Грановского, который хотел создать еврейский театр «высокого стиля». Шагал сделал эскизы костюмов и настенные панно — самое монументальное из созданного по возвращении из Франции. К счастью, фрески уцелели и совершенствуются теперь триумфальное шествие по миру.

Но для самого Шагала тогда ничего не изменилось — он продолжал чувствовать себя чужим и правым, и левым, оставался в коммунистической России таким же изгоем, как и в царской. За театральные работы ему не заплатили, и он жил тем, что давал уроки беспризорным еврейским детям в подмосковной Малаховке, таская туда для семьи на своем горбу мешки с пшеникой и перловкой. «Чтобы добраться туда, надо было отстоять несколько часов сначала в одной очереди — за билетами, потом в другой — чтобы попасть на перрон».

Решение было однозначным: «Уеду куда угодно: в Голландию, на юг Италии, в Прованс, — и скажу, раздирая на себе одежды:

— Родные мои: вы же видели, я вернулся. Но мне здесь плохо. Единственное мое желание: работать, писать картины. Ни царской, ни советской России я не нужен, меня не понимают, я здесь чужой. (...) Последние пять лет жгут мою душу. Я похудел, изголодался. (...) Я — устал. Возьму с собой жену и дочь. Уеду навсегда. И, может быть, вслед за Европой меня полюбит моя Россия».

Так и случилось, но путь к этому был долгим. При жизни Шагала единственная выставка его работ в Москве и Ленинграде состоялась в 1973 году — были показаны хранившиеся в музейных запасниках рисунки, возвращенные на склад, как только он уехал. Его мемуары увидели свет через 72 года после их написания. Их украшает часть сделанных для книги Шагалом в конце 20-х годов офортов — первых его работ в области гравюры, и другие рисунки. Напечатанные в тексте, они помогают убедиться в том, что пластичным может быть не только изобразительное искусство, но и слово, написанное великим художником. Книгу украшает послесловие Н.Апчинской — продуманное и прочувствованное.

СЕМЕН ЧЕРТОК

Иерусалим

25.5.95.